

С тех пор, как не стало Серафимы, убедился в никчемности утюга... Серафима не любила теперешних легковесных и по старинке держала в хозяйстве тяжеленный матушкин, на угольях. Пусть простит меня Сима... приладил его в погребу вместо гнёта в кадушку с огурцами.

А нынче незадача получается. Тот самый случай, когда утюг позарез нужен. Каждый год числа пятого-шестого мая собираются у обелиска на митинг. Все как есть... от мала до велика. Как же в такой день и без нас? Без меня, Кондрата, без двух друзей моих – Миколы и Тихона? Как записались добровольцами в начале войны, так бок о бок до самого Рейхстага пёхом... до последней минутки...

Не стало на деревне нашей фронтовиков... ушли один за другим. Только мы, три кряжа, и остались. Может, потому и коптим ещё небушко, что всегда горой друг за друга: и под пулями, и хату поставить пособить, и бакшу вспахать.

Вчера вот Тишина Петровна причепилась, занеси да занеси рубаху. Выглядит, мол. А то как же на такой праздник да в мятой?

Чего утруждать? Пусть Тихона свою обряжает. Сам справлюсь. Не хитрое дело... Утюг Петровна всучила. Полочки потру, а со спины и не видать – костюм надену.

Костюмчик у меня, конечно, знатный... Спасибо Ивану, сынку. Почитай, лет пятнадцать костюму-то? А то ещё поболее... Приехал как-то в отпуск, подарки выкладывает. Матери, Серафиме-то, – шаль закудрявистую пуховую – носи, не жалей. Сестре Людке – отрез букетистый крепдешинный на платье. А мне – этот самый костюмчик. «Негоже, – говорит, – фронтовику, да с тремя орденами Славы, кой в чём перебиваться. Примерь-ка, батя!»

И надо же – в пору, как по мне шит! Сразу по душе пришёлся: иссиня-чёрный, в тонкую полосочку... А сын: прими, мол, от шахтёра-орденоносца. Он тогда уже орден Трудового Красного Знамени имел... И обувку мне справил. Премия получил... Как он там теперя? Почтальонша чтой-то не заглядывает. Дошла ли посылка-то? Как Тихон увидел его по телевизору у шахт на голодовке, притопали с Миколой ко мне тут же. Сидят, мол, горняки, касками об асвалът бьют, порядку требуют.

Собрали мы им посылочку... Всё домашнее: сальца, самосадику, первачку (не без этого) в бутылку из-под «Буратины» накапали. Петровна сушки какой-то насыпала, лепёшек наварнакала – в общем, по-свойски. И записочку прописали: «Держитесь кучнея, мы с вами. Кондрат, Микола и Тихон».

Ну, вот... Рубаха на загляденье... Обувку ещё вчера надраил... Сима не преминула б шпильку вставить: «Аль на Красную площадь на парад нацелился?» А что? Мы ежели втроём... И по Красной пройдем, не стушуемся. Мы ещё о-го-го!

Ах ты, проказница, Жулька! Ты как тут оказалась? Кто тебяпустил? Опять вертушок в сенцах подкусила? Ну ладно уж, коли такая смышлёная, проходи, чего уж там... Только сиди смирно, не шкодничай! Чтой-то ты вторые сутки не отходишь? То тебя не докличишь, а то ластишься, как котёнок. Ай, что у тебя неладно? Не захворала ненароком?... И ночью спать не давала: то под дверьми скулила, то выть удумала... Накось жамочку. Тиша с району привёз... Мятная... Ешь, не кочевряжься. По нашим с тобой зубам, во рту тает...

Смотри, об уютю обожжешься. Вот лизнёшь мою руку, а его... Что я с тобою делать стану? Поди на половичок приляг, жамочку помумли...

Где он тут, костюмчик-то?.. Шкаф мылом земляничным пропах... Сима моли не терпела. Не так свои кофтёнки берегла, как Иванов подарочек, костюм мой парадный. Под праздник, бывало, в саду на сучок повесит, проветрит, почистит... Награды фланелькой, смоченной в конопляном масле, натрёт – горят!

Господи! Да где ж они, ордена-то?.. Замест наград – три дырочки. Куды ж они запропалились?.. Ить я костюм с Симиных похорон не доставал, почитай что год... Сами-то они не сымутся... Кому они нужны?.. Кроме Миколы да Тихона никто и не заходит. А у них и своих хватает. И фронтовые, и мирные... Вот ведь остальные и у меня на месте. А трёх орденов Славы – как не бывало!

Жулька! Беда-то какая! Ну разве ж я фронтовик теперя? Средь мирного дня боевые награды потерял! А ещё думал, перед смертью внуку, сыну Людкиному вручу. Пусть помнит, какой дед у него был, равняется... Род-то наш бравый! У отца мово Георгиевские кресты имелись. В музей на сохранность передал ещё лет двадцать назад. А свои не сберёг... Горюшко-то какое! Как же я на митинг-то? Через час Микола с Тихоном зайдут. Что им скажу?

Чтой-то мне нехорошо, Жулька... жжёт в груди... Ух! Точь-в-точь, как у Симы на похоронах...

Ничего... пройдёт. За час отпустит... Пока побреюсь, оденусь, глядишь, и вспомню, куда ордена запропалились. Память, видно, совсем прохудилась... а штопать уж и некогда... Чужих с поминок не было... последними уезжали Людмила с сыном... Душно было... пиджак я снял... в шкаф повесил... Нет, не помню, чтобы награды прибирал с костюма... Раньше Сима их в шкапулке на Божничке держала... Пустая шкапулка-то...

Что ж так под сердцем печёт? Спасу нет! Счас... счас валидол под подушкой... Мне б только Ивана дожидаться. Обещался по весне подскочить. Холмик осел, пора Симушке памятник ставить... Да и Людмила, может, заглянет... Ох, и не по нраву мне этот её новый ухажер. Больно прыток. Дела настоящего мужицкого не знает. «Я – коммерсант», – говорит. Какой ты к такой матери коммерсант? Спекулянт, самый наипервейший. И Людку с панталыку сбивает. Дома баба не живёт, снуёт с сумарями по Польшам-Турциям. Совсем Витьку-сына забросила. За ним глаз да глаз нужен – восемнадцать. Как безпригляду в большом городе?

Просил на лето ко мне спровадить, а она: «Хвосты телушкам крутить? Ему с друзьями тусоваться надо, а тут ни клуба, ни вечеринок, ни молодёжи». Избаловуха растит... Сама к лёгкой жизни тянется и сына туды ж... Боится, как бы дед в деревне малого работой не утрудил, не испортил. Бугай вон какой вымахал, а толку с того?

Муторно на душе... Хотел собрать всех на майские... Может, Иван повлиял бы на Витьку. У него-то хлопцы на загляденье: один – подвондник, уж майор, другой – строителем будет, университет заканчивает. Правда, Людка и сама особо мало к кому прислушивается. Сколько Иван бился, чтобы образование получила... К себе на Украину забирал. Одевал, обувал... Тогда ещё зарабатывал неплохо... Бросит и бросит учёбу Людка. Похлопочет Иван, опять восстановит... Так и не дотянула до диплома... пустышка... Витьку родила. До школы Сима за им приглядывала, у нас был. Но Людмила

наехала, не позволю, мол, чтоб телушкам хвосты крутил. И чего она к этим телушкам привязалась? Вон сколько ребятишек с нашей школы в люди вышло... Нет... Не легчает... И Жулька опять жмётся, скулит...

Ну, вот и нарядился... Только жжёт всё сильнее... как раз под тремя дырочками на пиджаке... А костюм-то выгорел... Там, где ордена были, ткань яркая... Дышать немоготу...

Пойдём, Жулька, на воздух, под черёмушку... Скоро уж Микола с Тишей подойдут... в голове мельтешат какие-то обрывки мыслей... Не продыхнуть...

Словно из тумана выплывают две сторбленные фигуры... приближаются к лавочке...

Что происходит? Зачем они тормошат меня?.. Почему я не слышу их голосов?.. Рты открывают, будто рыбы... Почему я не чую запаха черёмухи? Тихон плачет... и разом осунулся Микола... Не надо плакать! Мне легче... Я совсем не чую боли. Вот смотрите: встану, и пойдём к обелиску. Там, наверно, уже заждались...

Облокачиваюсь о плечо склонившегося надо мной Миколы, и легко, как в молодости, делаю несколько шагов вперёд. Оглядываюсь... И вижу себя, сидящего на лавочке... в пахнущих ваксой ботинках, в выцветшем костюме. Отчётливо темнеют три дырочки на левой стороне пиджака. Внезапно обостряется слух, и я улавливаю дрожащий голос Миколы: «Кондрат! Как же мы без тебя? Что же ты наделал, Кондрат!» Утирая слёзы рукавом, Тихон садится прямо на землю и всхлипывает: «Очнись же, Кондрат! Надо спешить! Нас ждут... Как они без нас?..»

Я всё-таки умер! Не дождался своих. А ведь как просил Иван: «Крепись, батя, скоро свидимся!» Оказывается, это совсем не страшно: я ещё с вами, я тут. Я вас вижу, слышу, только не могу сказать: «Ну что, старые вояки, распустили нюни? Не к лицу вам это вовсе!» Да, голос пропал, зато слух какой, даже мысли читаю. Вот сейчас Микола подумал: «Всё кончено... Утрись. Надо похоронить как следно».

Через двадцать минут, наносив родниковой воды, Микола с Тихоном раскинули клеёнку в сенцах на полу. Сняв пиджаки и закатав рукава,

товарищи обмыли меня. Вода у нас в ключах ледяная, аж до ломоты в зубах, но я совсем не почувял холода. Я уже остываю...

– Надо побыстрее одеть в чистое, – засуетился Микола.

– На нём и так всё чистое... праздничное, – всхлипнул Тиша.

Меня снова облачили в недоглаженную рубаху и в Иванов костюм.

С тех пор, как на фронте осколок задел позвоночник, у меня побаливала спина, а с годами мучения усилились. Когда-то я сколотил из сосновых тесин лежак, военврач предупредила: «Спать на жёстком!» Тихон вспомнил о нём и, вытащив из-под матраца, мужики водрузили щит посередь горницы на табуретки. Застелили покрывалом и уложили меня.

Тиша всё никак не мог связать мне руки на груди. Он постоянно утирался промокшим платком, отсмаркивался. Микола молча отстранил друга и закончил дело. Пока он занавешивал окна, Тихон отыскал в Симином сундуке какой-то чёрный подшалок и прикрыл им зеркало. Микола знал порядок в таких делах. Полгода назад схоронил Пантелеевну.

Подойдя к иконостасу, зажгёт лампаду. В солонку насыпал соли и воткнул зажжённую восковую свечу. Покопавшись в карманах, отыскал стольник и положил на тумбочку. Тихон, перекрестившись на Божничку, вынул ещё один и положил рядом... Вот ещё удумали! Свои ведь!

Смерть моя за какой-то час состарила и без того немолодых моих друзей. На мгновение они присели... Слышно было, как тяжело вздыхал один, как поминутно шмурыгал носом другой. «Ну, рассиживаться некогда», – скомандовал Микола, и они вышли... Я расслышал, какбрякнула щеколда, и Микола сказал: «Я – к Петру, а ты – на митинг». Я догадался: отправился в столярку гроб заказывать. А Тихон объявит сейчас прилюдно о моей смерти... прямо на митинге. Испортит праздник... Ну, такой уж он был всегда, День Победы. И радость, и слёзы вперемешку.

Оставили одного... Как знали... попрощаться без чужих глаз с хатой надо... Всё на месте... Прабабкины иконы в тяжелых окладах,

пожелтевшие карточки в рамках под стеклом, вязаная с голубками скатёрка. Только Симы нет... Теперь и меня не станет... Тишина давит так, что если б был жив, наверно, разболелась бы от её гула голова.

Протяжно завывала Жулька. Её привязали за амбаром, чтоб не мешала, не путалась под ногами.

Послышались шаги, и горница начала заполняться людьми.

Народ, не закончив митинг, потянулся к моей хате. Односельчане входили с зажжёнными свечами, стояли некоторое время, выходили, на их место заступали другие. Старухи расселись по лавкам, помоложе – засуетились на кухне.

Часа через три на подводе подкатил Петро, привёз обтянутый алым сатином гроб. Принесли соломы, разбросали по полу. В гроб уложили тюфячок, тоже набитый соломой. Петровна, покопавшись в Серафиминых ларях, каким-то своим, бабьим, чутьём отыскала всё необходимое. Не могла уйти Сима, не стоговав смертное и для меня. Здесь было и белое церковное покрывало, и образок, и связка восковых свечей, и ещё куча погребальных принадлежностей. Казалось, Сима и с того света волнуется за меня, заботится обо мне по-прежнему.

– Май месяц, а лето летом, – шептались старушки.

– С похоронами не задержишься. Жара.

– Ивана бы дождаться. Людка-то опять в Турциях. Микола до Витьки дозвонился... придёт.

Ну вот, даже проститься шепутная не явится. Может, хоть Витёк соизволит. Иван, конечно, с женой постарается. Только бы не закопали раньше сроку. А с другой стороны – чего теперь меня беречь? Вон как припекает! Будь что будет, терять уже нечего, всё потеряно...

Жаль только, не успел узнать, куда всё ж-таки ордена задевались. Как-то нехорошо... Будто я их сам перед смертью от глаз людских спрятал... застыдился ими. А стыдиться мне нечего! Вся жисть перед нашенскими на ладони. И на фронте, Миколай с Тихоном помнят, за мной ничего дурного не водилось. Вшей кормил, грязь хлебал, промерзал до самого сердца, пули не раз ловил вместе с ними...

Прожито много, но как подоспел весна, кажется, всё вот-вот только и начнётся. И жисть будто целая ещё впереди. И помирать страсть как не охотно! Май-то нынче какой! Сады в кипени, год урожайный, должно, будет. Эх, пожить бы! Ну, ещё хоть годок-другой. Пусть даже печёт в груди и темнеет в глазах, всё равно – жить!

Проснуться от крика петушиного, от твяканья Жулькиного, выйти с крыльца, вздрогнуть от утреннего холодка, пофыркать рукомяником, согнать Зорьку в стадо. Да мало ли что ещё! И желанья-то самые простецкие: пройтись с литовочкой по лугу росному, подышать цветом липовым, хрумкнуть яблочком яровым.

Писал же мне Иван: «Сходи к медичке. Пусть от сердца чего-нибудь пропишет». А что ходить-то? На девятый десяток перевалило... Видать, срок подоспел... Чего зазря лекарства изводить?

Давно в моей хате не было столько народу. Как дети разлетелись, мы с Симой словно осиротели, даже говорить стали вполголоса. Да нам и говорить не надо, с полвзгляда друг друга понимали, с полнамёка.

Вошла Никаноровна. Бабки потеснились, уступили местечко поближе к гробу. Никаноровна раскрыла «Псалтирь» и забубнила по привычке себе под нос. Никто на деревне не знает, сколько ей лет. Я ещё мальчонкой бегал, а уж она и тогда старухой была. Церкви у нас нет, потому и батюшки нет, отпевать некому. На случай похорон призывается Никаноровна со своей древней, как и она сама, «Псалтирью». Коли вздумает кто подтрунить над бабкой: мол, когда сама помрёшь, кто ж тебя, старая, отпевать станет? – на это заготовлен у Никаноровны ответ: «Не дождёсси!» Назначенную самой себе службу старушка справляет добротнo. Знает, когда в течение ночного бдения разрешается покемарить, когда перекусить не помешает, когда свечки зажечь, когда погасить. На неё полагаются, и установленные ею порядки принимают за церковные.

Никаноровна прервала чтение, вспомнив о чём-то, всплеснула руками, мол, нехристи вы, нехристи, и приказала задвинуть Симины фикусы куда подальше – не место живым цветам у гроба.

Микола помогает бабам по хозяйству. Тихона спровадил в район за провизией и в военкомат за оркестром. Похороны будут скорые, на завтра передали + 25.

Ну вот... теперь точно Иван не успеет. Он же у нас за границей живёт! Когда это было, чтоб Украина чужой страной называлась? Таможня, граница... Тьфу ты! Разодрали страну на части, ни детям к родителям не добраться, ни родителям их не дождаться.

Односельчане идут и идут. И все ко мне... Даже как-то неловко. Не привык я к такому вниманию. Да и к тому, что умер, тоже пока не привык... Может, я просто сплю? Ведь вижу же я, как Сенька-баламут под шумок будильник мой с подоконника потырил и за пазуху пихнул. Вижу... точно вижу. Слышу, как плачет закрытая в будке Жюлька. А поделать ничего не могу: ни Сеньку по рукам шлёпнуть, ни Жюльку вызволить. Тело не моё, не подчиняется мне больше.

Видать, я всё же умер... Душа только никак не успокоится... А как тут успокоишься? И ордена не сыскались, и с могилой не определятся. Места, сомневаются, рядом с Серафимой маловато. Ишь, чего выдумали! Не могу я вдали от жены лечь. В тесноте – не в обиде. Шестьдесят годков под одной крышей теснились, а уж там Сима ради меня подвинется. И Ване полегшее будет... траты какие... Памятник уж теперь один на двоих поставит.

Вот Сима-то обрадуется... Дождалась-таки. Я, как в холода её хоронил, места себе не находил. Сон последний год совсем пропал. Как вспомню, что одну в холодной ямине оставил!.. Всё просил гроб постилками шерстяными укрыть, не пожалеть, только потом уж землицей присыпать.

Хотел с Ваней потолковать... Оставался бы он дома. На кой ляд ему эта Украина, коли такой расклад у них пошёл? Никого своих там нету... Опереться не на кого. Дети далеко, в России. Переезжал бы уж на дедовский корень. И нам с матерью спокойнее б лежалось... под его приглядом... Шахты рушатся. Не ровён час, завалит... Вишь, праветель ихний никудышная какой... Напрочь с Россией расхристаться взду-

мал. От нас отбили, а один не справляется. Мы рядышком, вот они, а Америка евонная, где это она? За морями-океанами. Когда-то помочи с неё дождётся.

За окнами стемнело. Зажгли ещё больше свечей. Тени расползаются по стенам, снуют из кухни в сенцы.

Командует Тишина Петровна. Жарится, парится, готовится поминальный обед.

Последняя ночь дома... Как я буду без него? Сима же смогла... и я, наверно... смогу. Всю жизнь тянулся к ней... и за ней... Как увидел её в гостях на Казанскую, так и украла она моё сердце. Ни на кого никогда не взглянул... Куда им до моей Симы! Видать, и я ей приглянулся. Сватов заслал – не отказала. Правда, никогда не слышал от неё «люблю». Всё «жалкий мой» да «жалкий мой». Вон меж окон карточка довоенная. Я на стуле сижу, на руках Ванюшка годовалый, а Сима рядом стоит... Краше во всей губернии не сыскать.

Никаноровна помурлыкала, помурлыкала и прикорнула. А бабки наскоро пробежались по тем, кто не был рядом, быстрёхонько обсудили проблемы местного и международного масштаба.

Перемыли и постель, и косточки Лидке-фельдшеричке. Мол, почему это на медпункте бесплатных лекарств для инвалидов и престарелых нет, а за деньги – бери любые.

Досталось и Сидоровне, что дурманит мужиков некачественным самогоном. Подсыпает димедрол. Того гляди, траванётся кто-нибудь.

Пробрали Стёпку-тракториста. Вспахал по пьяни «Дорогу жизни» – единственную шоссейку, ведущую в деревню. Теперь автобусник ездить отказывается, а ремонтом никто не собирается заниматься.

Иногда старухи вспоминали обо мне, притихали, крестились и сожалели, как тому и полагалось: «Хороший был Кондрат, царствие ему небесное!»

Ближе к утру, разобравшись с делами, к бабкам присоединились Микола и Тихон. Микола из нашей троицы – самый молодой. Тихон – самый добрый. А я... Я был на пару лет постарше.

Странно, почему, когда видишь себя в гробу, так остро хочется жить. А в запасе нет уже ни секунды, ни мгновения! Стою у черты... Передо мной, как в ускоренном кино, мелькает моя жизнь... Кадр за кадром, день за днём. Я не успеваю разглядеть картинок. В основном они чёрно-белые, лишь изредка – цветные.

Да, действительно, праздников было мало-вато... В большинстве – серые, беспросветные будни... Полуголодное детство... Война... Смерть трёх детей... Работа... работа... работа...

Лишь иногда вспышки... Отец вернулся живой с Финской (уже не надеялись, пропал без вести)... Сима, свадьба наша... Рождение Ивана... День Победы... И снова Сима... беременная дочерью... Вот, пожалуй, и все радости...

Светаёт... У крыльца резко тормозит легковушка. Слышится голос внука. Надо же... Не знал, что водит машину, да и вообще, что она у него есть.

«Витя, Витенька! – Петровна кинулась к двери, – Нету больше Кондратушки! Что ж, мамке-то сообщил?» «Где за ней угоняешься? В Грецию за шубами отбыла. Будет через неделю». Внук, задержав взгляд на моём пиджаке, на том самом месте, где должны были красоваться ордена, прошёл к иконостасу, поправил лампадку и по-деловому, чего никогда за ним не замечалось, закомандовал похоронами.

«Жарень! Хоронить надо сегодня, часа в два. Дядька Иван всё равно не успеет», – Витёк заходил по хате, поторавливая баб со стряпнёй. Сам вызвался сколачивать с Тихоном столы во дворе. Поминать будут в саду под грушенкой.

А что? Место самое подходящее. Бесемянка в цвету, пчёлки жужукают, рай земной, да и только. Сады гудья гудят. Нынче мёд уже в мае качать можно. С вербы взяток хорош... теперь яблони пошли, вишни, груши, черёмуха. Только трудись, пчела. Да ей подсказывать не надо. Она, пронира, всё сама наперёд знает...

Да... что станется с моими улюшками?... Может, Микола догадается, подберёт. Хотя... Ему бы со своими управиться. Вот Жульку Тиша точно не кинет. Он сердобольнай... С куриами Петровна уже распорядилась – бабы щиплют.

Ну и правильно, чего беречь-то? На помин души хозяйской пойдут.

Петровна – бабонька хлопотная. Стряпать умеет, хохлушка. Тихон её из Германии привёз. На работу немцы из-под Киева угнали. А как освободили, она в нашем эшелоне домой возвращалась. Пока ехали, обзнакомились они с Тишей да и поженились. Свадьба у них на колёсах прошла... весёлая... победная...

Микола, тот всю войну по училке, что в сороковом к нам в деревню прислали, сох. Вернулся и не отступил, будто прилип. Не устояла Елизавета Матвеевна. Трёх сынов ему родила, выходила. Только свили Миколины орлы не в наших краях гнёзда, не стало Лизы, доживает друг мой Микола в опустевшей хате со щеглом Фимкой да котом Филькой. Хоть с ими словом перебросятся... Я его понимаю... От одиночества и онеметь не мудрено.

Сам, бывало, затоскую, впору Жульке подвывать. Сбирюсь... и к Миколу... Посидим... выпьем по стопочке, другой, помянем Симу с Лизой... потолкуем, вспомнить-то есть о чём, а там – и на печку пора.

Хорошо всё-таки, что Витёк подъехал. Вишь, как старается, организывает. А то Микола с Тихоном из сил выбились, годы-то какие...

Привезли венки, расставили вдоль стен. Лесом запахло, смолой. Даже не ожидал такой красоты. Как магазинные. В сенцах от крышки и креста тоже свежей сосёнкой пахнет.

Бабки раскопали Симины рушники. Ещё из приданного. Вот ведь когда пригодились! Один завязали на крест. Отобрали самые длинные – гроб в могилу опускать... Там и останутся... Вот и ладно. Вышивала их Симушка. Опустятся на гроб, словно она руками ко мне на прощание прикоснётся.

Часам к двенадцати начал сходить народ. Откуда столько взялось!

Ах, да! Праздничные дни. Гости понаехали. Вот и привалили со мной проститься. Спасибо, конечно... только не по себе мне от этого... Да уж ладно, потерплю напоследок. И самому всех увидеть хочется... проститься...

Витёк весь день с телефоном ходит. Придумали же игрушку: без проводов, маленькая,

карманная, а в дальнюю даль дозвонишься. Иногда Витёк кричит так, что слышно даже в хате. Вот опять: «Не торопи ты меня. Сказал – привезу, значит, привезу». Деловой Витька стал... Видать, поумнел... Даже радостно как-то... и помирать спокойнее...

Подошёл грузовичок. «Лапник, лапник тащите!»- поторапливает Витёк постовых-пионеров. Пристроившись на лавках в палисаде военкомовский оркестрик настраивает инструменты.

К часу дня Витёк объявляет, что пора заканчивать прощание. Оркестр играет «Славянку». Гроб выносят из дома и ставят на грузовик.

Душа моя разрывается, мечется между осиротевшей, всхлипывающей сенной дверью, хатой и ещё не определённым на вечный покой, но уже готовым ко встрече с Господом и Симой, телом.

На кузов поднимают крышку, венки и крест. У изголовья – Микола с Тихоном. Витёк усаживается в иномарку. Жители деревни идут следом пешком.

Кладбище наше прямо за околицей. Грузовик еле ползёт вдоль улицы... и я... прощаюсь... с каждой хатой... с каждой ракилкой... с каждой скворечней.

Так муторно, а тут ещё этот оркестр! Как ударит своими тарелками! Кто только придумывает такую музыку... Так жалко вдруг стало себя... Поскорее бы, что ли, всё закончилось. Хотя... Вот снова невыносимый приступ – нестерпимо хочется жить! Ещё чуть-чуть! Прокатиться с Витькой на его новой машине, повспоминать чего-нибудь из фронтовых передраг школярам. Да просто поболтать ни о чём с незнакомцем.

Встать бы сейчас и сказать во весь голос, прямо с машины: «Любите друг друга, прощайте друг другу, общайтесь, заботьтесь друг о друге! Нет ничего дороже этого. Потому что это и есть жизнь, и ничего нет прекраснее её! Даже самые невероятные жизненные тяготы – радость и счастье по сравнению с могильным покоем».

А Ивана так и нет... Может, телеграмму не получил? У них там стачки-забастовки. Досадно, не успел даже записку черкануть, чтоб ордена

поискал. Не могли же они бесследно из хаты исчезнуть?

Людка возвратится, приедет на могилку, выть станет. А что теперь выть-то? Мы для неё обуза. Всегда старалась подальше держаться. Семьдесят километров до города, а приезжала в полгода раз, а то и реже. Какой ей от нас прок? Пензия крошечная. Она за день такую сумму спускает. Научилась спекулировать у свово Вовки-Вольдемара.

У кладбищенских ворот притихшие, было, музыканты заныли снова, и бабы зашмыркали носами. Мужики подхватили гроб и понесли через погост в дальний левый угол.

Душа моя вдруг почему-то заторопилась. Определила односельчан, и воспарив над погостом, наблюдала, словно старалась запомнить лица пришедших, расслышать их редкий шёпот, сосчитать их шаги до ожидающей меня со вчерашнего дня могилы. С высоты голубиноного полёта ещё печальнее казалась поникшая толпа. Медленно, будто нехотя, пробиралась она меж покосившихся замшелых крестов, расшитых молодым земляничником, осыпанных, словно крошками пасхального кулича, первыми мать-и-мачехами, могильных холмов туда, где совсем недавно сладил я тесовую лавочку, куда зачастил со дня Симиных похорон... Под рябинку... Песню жена про неё всегда напевала...

Когда гроб поставили на табуретки, из могильной утробы потянуло отсыревшей глиной, дохнуло кладбищенской горьковатой слащавостью и провожающие неволью отпрянули, видно, почуяли, как из глубины свежевырытой домовины на них взглянула вечность. Мне показалось, я даже вижу красную материю Симушкиного гроба. Стало спокойней... Значит, всё-таки бок о бок...

Как я и думал, выпятив пузо горой, председатель Прилепкин выступил вперёд и завёл тяготину минут на двадцать. Даже я устал от его болтовни. Но тут выручил внук. Только Прилепкин надумал перевести дух, Витёк представил слово представителю военкомата. Тот был по-военному краток. Щёлкнули затворы. Два бойца, приехавшие вместе с оркестрантами, произвели салют.

Гроб, наконец-то, начали опускать в могилу. Сильнее запахло сосновой доской... и бездной... Вдруг мне ещё раз захотелось взглянуть... в последний раз... на Божий свет.

Микола и Тихон уткнулись друг другу в плечо и беззвучно рыдали. Петровна обняла их обоих и прижала к себе. Я искал внука. Зазвонил телефон, Витек дёрнулся в сторону, и я услышал, как он в полголоса сказал: «Успокойся! Дай хоть закопать. Ордена получил, получишь и иконы. Я тебя когда-нибудь обманывал?»

Что он сказал? Ордена?! Так вот где взял паршивец деньги на иномарку! Надо что-то делать! Не могу позволить, чтобы в его руках оказался Симин иконостас!

Витёк, не дождавшись, когда засыпят могилу, рванул в деревню. Но где ему на своей жестянке теперь угнаться за мной!

Это только тело! Я слышал, душа, если дела земные не завершены, остаётся на земле до сорока дней. Не всё потеряно! Надо что-то придумать! Надо успеть!..

Ещё издали я узнал его... К хате быстрым шагом с остановки приближался Иван. Значит, всё-таки приехал! Спи спокойно, Сима. Я скоро буду... Теперь и ордена найдутся, и иконы твои никто не посмеет тронуть... Иван дома...

На крышку гроба глухо посыпалась земля. Очнулась Никаноровна: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного предстательского раба Твоего, брата нашего Кондратия, и яко благ и человеколюбец, отпускающий грехи и потребляющий неправды, ослаби. Остави и прости вся вольные его согрешения и невольные, избави его вечныя муки...»



*Фетовский праздник поэзии в Орле. 2011 год.*